

Текст · 5 августа 2023, 11:46

«Они верят русским бомбам, а не русской пропаганде». Отрывок из книги Марты Геллхорн «Лицо войны»

«Когда я была молода, я верила в прогресс, в способность человека становиться лучше и думала, что журналистика — это путеводная звезда, — говорит репортерка Марта Геллхорн в предисловии к сборнику своих статей "Лицо войны". — Постепенно я осознала, что люди охотнее глотают ложь, чем правду, как будто у лжи домашний, приятный, привычный вкус». И тем не менее, Геллхорн писала военные репортажи больше 50 лет: Гражданская война в Испании, Вторая мировая, Вьетнам, Палестина и даже американское вторжение в Панаму, куда журналистка поехала, когда ей был 81 год. Сборник Марты Геллхорн впервые вышел на русском языке только сейчас, в издательстве [Individuum](#). «Медиазона» публикует фрагмент из него, посвященный началу Зимней войны 1939-40 годов — когда Советский Союз начал бомбить Хельсинки.

Декабрь 1939 года

Война началась точно в девять часов утра. Жители Хельсинки стояли на улицах и слушали мучительный, то нарастающий, то убывающий, но неизменно громкий вой сирены. Впервые в истории они слышали, как бомбы падают на их город. Таким способом в наши дни объявляют войну. Люди неторопливо двинулись в бомбоубежища или укрылись в дверных проемах и ждали.

В то утро Хельсинки превратился в застывший город, полный лунатиков. Война пришла слишком быстро, и на каждом лице, во всех глазах читались шок и неверие.



Обложка книги Марты Геллхорн «Лицо войны»

Небо весь день сохраняло грифельный цвет, одеяло облаков низко висело над городом. Второй воздушный налет произошел в три часа дня. На этот раз ни одна сирена не подала сигнала тревоги; звучал лишь стремительный, захватывающий дух рев бомб. Русские самолеты летели незаметно, в вышине, чтобы потом спикировать на высоту двухсот метров и сбросить свой тяжелый груз. Налет продолжался одну минуту. Это была самая длинная минута в жизни каждого обитателя Хельсинки.

Прогремело пять сильных взрывов, после которых сама тишина казалась ужасающей. По тихим разбомбленным улицам пролетел слух: они распылили ядовитый газ. Поверить можно было во все что угодно. Там, где раздавался жуткий грохот бомбовых разрывов, мы увидели высокое, круглое, серое облако дыма, медленно клубившееся между зданиями. Противогазов у нас не было.

В гостинице закрыли двери, но так как в крыше холла от взрывов уже вылетели все стекла, это казалось слабой защитой. Из окна пятого этажа я увидела свет от пожара, и на фоне неба он казался розовым.

— Пока не газ, — сказали мы друг другу, очень обрадованные. — Всего лишь зажигательные бомбы.

Улицы, которыми мы шли, усыпали осколки стекла. Дым сделал серый день еще темнее. Разбомбленные дома в этом квартале были объаты таким высоким пламенем, что самих развалин было не разглядеть. Повернув налево, мы побежали на свет другого пожара. Техническое училище, огромный гранитный квадрат зданий, тоже попало под удар. Дома вокруг

него и на соседней улице были выпотрошены дочиста, пламя вырывалось изо всех пустых окон. Пожарные работали быстро и молча, но сейчас они могли только пытаться потушить огонь. Тела они откопают позже.

На углу улицы, в подступающей темноте, женщина остановила автобус и посадила в него ребенка. Она не успела поцеловать его на прощание, и никто ничего не сказал. Женщина развернулась и пошла обратно к разбомбленной улице. Автобус собирал детей, чтобы увезти их куда-нибудь. Никто не знал куда, главное — подальше от города. Эта необычная миграция началась тем днем и продолжалась всю ночь. Потерявшиеся дети, чьи родители исчезли в горящих зданиях или куда-то пропали в суматохе внезапного нападения, блуждали в одиночку или по двое — по трое, выбирая любую дорогу, которая вела бы их прочь от того, что они видели. Спустя несколько дней государственное радио все еще будет выкликать их имена, пытаясь воссоединить семьи.

Рядом с большой заправочной станцией распростерся на боку автобус, уже сгоревший, а неподалеку лежал первый мертвец, которого я увидела на этой войне. В мое первое мадридское утро, три зимы назад, я видела человека, похожего на этого. Сейчас, как и тогда, распознать его можно было только по ботинкам: от рук и головы ничего не осталось. В Испании тот маленький, темный, искореженный сверток был обут в бедняцкие башмаки на веревочной подошве, а этот — в ботинки с ношенными, но тщательно залатанными кожаными подошвами. В остальном оба трупа были жутко похожи. Я подумала, что тем, кто отдает приказы о бомбардировках, и тем, кто сбрасывает

бомбы, не помешало бы как-нибудь пройтись по земле и взглянуть, как выглядят плоды их трудов.

Зимой в Финляндии уже в четыре часа дня наступает темная ночь, но люди остались на улицах, словно желая утешиться присутствием друг друга. Женщины столпились в дверях, но не разговаривали, и никто нигде не плакал, нигде не было видно горя и паники, чего можно было бы ожидать. Той студеной ночью дороги из Хельсинки потемнели от верениц молчаливых людей, которые несли ранцы, легкие чемоданы или просто с пустыми руками шли в леса в поисках безопасности.

На следующее утро уборщики лопатами для снега сгребали битое стекло с улиц вокруг Технического училища. Огромные здания, пробитые бомбами от крыши до подвала, внутри выгорели до черноты. Пожарный отвел меня в соседний жилой дом. Мы прошли по полу, залитому водой из пожарных шлангов, поднялись на два лестничных пролета и вошли через повисшую на петле дверь в когда-то уютную квартиру. Теперь белая мебель в спальне была наполовину раскурочена, вуалевые занавески висели мокрыми тряпками, семейные фотографии и все мелкие бесполезные декоративные вещицы, которые люди собирают и берегут, валялись на полу, как мусор. Всю ночь пожарные доставали тела из этой квартиры и из соседней, и неделю спустя они все еще будут находить погребенных мертвецов. Пожарный, который привел меня сюда, много лет назад работал в Сан-Франциско и Трентоне, и мы говорили об этих городах, о том, как повезло живущим там людям. Мы стояли на улице и смотрели на все еще бушующий пожар, смотрели на развалины училища и

разрушенные дома, а пожарные говорили тихо, но без улыбок: «Хорошенькие ребята эти русские».

В одной из больниц лежала женщина, которую зажало под обломками ее дома, и теперь она ждала смерти, стаскивая с себя одеяла, потому что любой вес был ей невыносим. Ее ребенок погиб, но она не знала об этом, а муж лежал в другой палате и смотрел перед собой неподвижными, безумными глазами. Он был маляром. На соседней кровати лежал красивый смуглый юноша с ярко-красным от лихорадки лицом, он держался неподвижно, потому что с такой дырой в спине даже дыхание причиняло ему невероятную боль. Он был водопроводчиком.

На второй день войны русские самолеты появились в час дня, и пулеметы на крышах офисных зданий и жилых домов на главной улице молотили по ним, целясь в низкое серое небо. Самолеты разворачивались и сбрасывали бомбы на рабочие кварталы на окраинах города. Флористы посылали цветы в больницы и делали венки для гробов, и за красивыми гробами на кладбище следовали маленькие процессии неплачущих людей.

Они продолжали эвакуировать детей: в катафалках, в вагонах для скота, во всем, что могло передвигаться на колесах или по рельсам. После трех дней и ночей в холодных лесах без крова и еды люди стали пробираться в деревни под Хельсинки. Затем в деревню приезжал грузовик, чтобы перевезти некоторых из них на сельскую станцию, где они могли сесть на поезд, который отвезет их дальше на север. Водитель приставил к грузовику лестницу, и семь маленьких старушек с маленькими ранцами

забрались по ней, щебеча, как птички. Они говорили на прекрасном, слишком правильном гувернантском английском, смеялись над тем, какие они неуклюжие, и сказали, что да, они собираются сесть на поезд, и нет, они не знают, куда едут, но все будет хорошо, они найдут какое-нибудь место, где можно будет остановиться. В лесу, по их словам, было довольно тяжело, но теперь все будет в порядке.

Хорошо одетая молодая женщина с двумя маленькими детьми и младенцем шла из города пешком: няня толкала детскую коляску, а она вела и несла остальных детей. Как и у всех остальных, у нее ничего больше не осталось. Но у ее ребенка в коляске был меховой коврик для тепла, поэтому она не жаловалась.

В соседней деревне крупная женщина с красными щеками покупала лекарство от кашля для десятилетней дочери, которая заболела после трех ночей в лесу. Мать сказала, что теперь они спят вдсятером в однокомнатной хижине, но так, конечно, им теплее.

— Мы ждем и надеемся, — сказала она. — Почему мы должны бояться? Мы не сделали ничего плохого.

Слухи, этот неизбежный побочный продукт войны, распространялись по деревням и по городу; поговаривали, что русские планируют чудовищную воздушную атаку — собираются сровнять Хельсинки с землей. Не останется ничего и никого.

На фоне этих слухов русские засыпали город листовками и забивали радиоэфир пропагандой. Финны реагировали с горьким весельем. Вместе с

бомбами прилетали плохо напечатанные брошюры: «Вы знаете, что у нас полно хлеба, почему же вы голодаете?»

Поскольку финны питаются ничуть не хуже других народов мира, такие слова их не убеждали. Московское радио твердило им, что финны — братья, и воюет против СССР не настоящий финский народ, а лишь кучка заговорщиков, подстроивших дьявольскую махинацию. Над этими заявлениями смеялся весь Хельсинки. В Финляндии менее одного процента неграмотных, и у людей есть доступ к информации. Они верят русским бомбам, а не русской пропаганде.

По мере приближения к южной границе и зоне боевых действий поток беженцев на дорогах сгущался. Беженцы передвигались на санях по этой белой, смертельно холодной стране; в основном это были старики, сгрудившиеся вокруг своих мешков и свертков, с лошадьё-другой, привязанной к саням и трусящей позади. Война длилась пять дней, и первый шок уже прошел. Никакой паники не было, только твердая решимость защищать свою страну, и теперь казалось, что люди точно знают, куда они должны идти, что у каждого человека есть какая-то особая работа, которую необходимо выполнить во имя общего дела. Итальянский журналист в Хельсинки заметил: «Тот, кто может выжить в финском климате, может пережить все что угодно», и мы с восхищением решили, что финны — крепкий и неумолимый народ. Мы видели, что они принимают эту войну как должное, будто нет ничего особенного в том, что три миллиона человек сражаются против ста восьмидесяти миллионов.

Одно из худших впечатлений от этой войны — вождение автомобиля. В городах ли, в деревнях ли вы постоянно едете в темноте, а в сельской местности дороги к тому же узкие и обледенелые, словно каток. Кроме того, ужасно холодно. Однажды поздно вечером мы остановились на ферме, чтобы оттаять, прежде чем продолжить путь. Ферма принадлежала Свинхувуду^[1], первому региусу и третьему президенту Финляндии: все финны называют его Пекка и очень любят.

Президент, высокий пожилой мужчина в рубашке, как у дровосека, и высоких сапогах, сам провел нас в дом. Его жена, ясноглазая, маленькая смуглая

женщина почти такого же возраста, как и он, присоединилась к нам в гостиной. В их доме были расквартированы шестнадцать солдат, с которыми они обращались словно с собственными детьми. Старый президент провел два с половиной года в Сибири, потому что отказался нарушить финские законы под диктовку России^[2]. За эти годы его жена трижды ездила в лагерь для заключенных, чтобы заботиться о нем. Об их верности друг другу и Финляндии ходят легенды, и теперь эта крепкая пожилая пара кажется символом своего народа. Как и все остальные финны, они ненавидят войну. Как и все остальные финны, они понимают, что означает эта война.

Но они долго строили свою страну, и хотя идеальных стран не бывает, они знают, что в Финляндии люди не страдают от безработицы и голода, государство заботится о здоровье граждан и о стариках, которые не могут работать, школы доступны для всех, справедливое распределение богатства гарантировано благодаря системе кооперативов, широкому распространению государственной собственности на промышленность и транспорт, а также дешевой земле. Люди здесь могут верить во что хотят, говорить, как считают нужным, и читать все, что пожелают. Они не собираются легко сдаваться, и хотя эта война — катастрофа, они принимают ее спокойно, потому что другого выбора у них нет.

Президент Свинхувуд предложил нам небольшие яблочки из своего сада и рассказал, как прекрасна Финляндия летом, а его жена попросила нас

вернуться и навестить их, когда война закончится победой.

— Мы никуда не уедем, — сказала она. — Это наш дом.

Армия численностью, возможно, полмиллиона человек, опирающаяся на сплоченное и бесстрашное гражданское население численностью два с половиной миллиона человек, предпочла вести оборонительную войну, чтобы сохранить свою страну, свою республику и свой образ жизни: трудолюбивый, мирный и достойный.

Возле дома в Хельсинки стоял девятилетний мальчик и смотрел на русские бомбардировщики. Белокурый и пухлый, он стоял, положив руки на бедра и расставив ноги, и смотрел в небо с упрямым, серьезным лицом. Он старался стоять ровно и неподвижно, чтобы не пригнуться от шума бомбардировщиков. Когда снова воцарилась тишина, он сказал:

— Мало-помалу я становлюсь по-настоящему зол.

Источник: Марта Геллхорн. «[Лицо войны. Военная хроника 1936–1988](#)» (Перевод Ульяны Чаркиной, Москва, Individuum, 2023).

1. Пер Эвинд Свинхувуд (1861-1944) — президент Финляндии в 1931-1937 годах, придерживался консервативных позиций.

2. Свинхувуд родился в Великом княжестве Финляндском, до 1917 года существовавшем в составе Российской империи; в 1914 году, будучи председателем уездного суда, отказался признавать полномочия присланного из России чиновника, после чего был отправлен в ссылку в

Сибирь. Вернулся в Финляндию после падения монархии в России в 1917 году.